



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



Посвящается Марии Игнатьевне Закревской

Глава 1

Иван Акимович Самгин любил оригинальное, поэтому, когда жена родила второго сына, Самгин, сидя у постели роженицы, стал убеждать ее:

— Знаешь что, Вера, дадим ему какое-нибудь редкое имя? Надоели эти бесчисленные Иваны, Василии... А?

Утомленная муками родов, Вера Петровна не ответила. Муж на минуту задумался, устремив голубиные глаза свои в окно, в небеса, где облака, изорванные ветром, напоминали и ледоход на реке, и мохнатые кочки болота. Затем Самгин начал озабоченно перечислять, пронзая воздух коротеньким и пухлым пальцем:

— Христофор? Кирик? Вукол? Никодим?

Каждое имя он уничтожал вычеркивающим жестом, а перебрав десятка полтора необычных имен, воскликнул удовлетворенно:

— Самсон! Самсон Самгин, — вот! Это неплохо! Имя библейского героя, а фамилия, — фамилия у меня своеобразная!

— Не трясись кровать, — тихо попросила жена.

Он извинился, поцеловал ее руку, обессиленную и странно тяжелую, улыбаясь, послушал злой свист осеннего ветра, жалобный писк ребенка.

— Да, Самсон! Народ нуждается в героях. Но... я еще подумаю. Может быть — Леонид.

— Вы утомляете Веру пустяками, — строго заметила, пеленая новорожденного, Мария Романовна, акушерка.

Самгин взглянул на бескровное лицо жены, поправил ее разбросанные по подушке волосы необыкновенного золотисто-лунного цвета и бесшумно вышел из спальни.

Роженица выздоравливала медленно, ребенок был слаб; опасаясь, что он не выживет, толстая, но всегда больная мать Веры Петровны торопила окрестить его; окрестили, и Самгин, виновато улыбаясь, сказал:

— Верочка, в последнюю минуту я решил назвать его Климом. Клим! Простонародное имя, ни к чему не обязывает. Ты — как, а?

Заметив смущение мужа и общее недовольство домашних, Вера Петровна одобрила:

— Мне нравится.

Ее слова были законом в семье, а к неожиданным поступкам Самгина все привыкли; он часто удивлял своеобразием своих действий, но и в семье и среди знакомых пользовался репутацией счастливого человека, которому все легко удается.

Однако не совсем обычное имя ребенка с первых же дней жизни заметно подчеркнуло его.

— Клим? — переспрашивали знакомые, рассматривая мальчика особенно внимательно и как бы догадываясь: почему же Клим?

Самгин объяснял:

— Я хотел назвать его Нестор или Антипа, но, знаете, эта глупейшая церемония, попы, «отрицаешься ли Сатаны», «дунь», «плюнь»...

У домашних тоже были причины — у каждого своя — относиться к новорожденному более внимательно, чем к его двухлетнему брату Дмитрию. Клим был слаб здоровьем, и это усиливало любовь матери; отец чувствовал себя виноватым в том, что дал сыну неудачное имя, бабушка, находя имя «мужицким», считала, что ребенка обидели, а чадолюбивый дед Клима, организатор и почетный попечитель ремесленного училища для сирот, увлекался педагогикой, гигиеной и, явно предпочитая слабенького Клима здоровому Дмитрию, тоже отягчал внука усиленными заботами о нем.

Первые годы жизни Клима совпали с годами отчаянной борьбы за свободу и культуру тех немногих людей, которые мужественно и беззащитно поставили себя «между молотом и наковальней», между правительством бездарного потомка талантливой немецкой принцессы и безграмотным народом, отупевшим в рабстве крепостного права. Заслуженно ненавидя власть царя, честные люди заочно, с великой искренностью полюбили «народ» и пошли воскрешать, спасти его. Чтоб легче было любить мужика, его вообразили существом исключительной духовной красоты, украсили венцом невинного страдальца, нимбом святого и оценили его физические муки выше тех моральных мук, которыми жуткая русская действительность щедро награждала лучших людей страны.

Печальным гимном той поры были гневные стоны самого чуткого поэта эпохи, и особенно подчеркнуто тревожно звучал вопрос, обращенный поэтом к народу:

Ты проснешься ль, исполненный сил?
Иль, судеб повинуюсь закону,
Все, что мог, ты уже совершил,
Создал песню, подобную стону,
И навеки духовно почил?

Неисчислимо количество страданий, испытанных борцами за свободу творчества культуры. Но аресты, тюрьмы, ссылки в Сибирь сотен молодежи все более разжигали и обостряли ее борьбу против огромного, бездушного механизма власти.

В этой борьбе пострадала и семья Самгиных: старший брат Ивана Яков, просидев почти два года в тюрьме, был сослан в Сибирь, пытался бежать из ссылки и, пойманный, переведен куда-то в Туркестан;

Иван Самгин тоже не избежал ареста и тюрьмы, а затем его исключили из университета; двоюродный брат Веры Петровны и муж Марьи Романовны умер на этапе по пути в Ялуторовск, в ссылку.

Весной 79-го года щелкнул отчаянный выстрел Соловьева, правительство ответило на него азиатскими репрессиями.

Тогда несколько десятков решительных людей, мужчин и женщин, вступили в единоборство с самодержавием, два года охотились за ним, как за диким зверем, наконец убили его и тотчас же были преданы одним из своих товарищей; он сам пробовал убить Александра Второго, но, кажется, сам же и порвал провода мины, назначенной взорвать поезд царя. Сын убитого, Александр Третий, наградил покушавшегося на жизнь его отца званием почетного гражданина.

Когда герои были уничтожены, они — как это всегда бывает — оказались виновными в том, что, возбудив надежды, не могли осуществить их. Люди, которые издали благосклонно следили за неравной борьбой, были угнетены поражением более тяжко, чем друзья борцов, оставшиеся в живых. Многие немедля и благоразумно закрыли двери домов своих пред осколками группы героев, которые еще вчера вызывали восхищение, но сегодня могли только скомпрометировать.

Постепенно начиналась скептическая критика «значения личности в процессе творчества истории», — критика, которая через десятки лет уступила место неумеренному восторгу пред новым героем, «белокурой бестией» Фридриха Ницше. Люди быстро умнели и, соглашаясь со Спенсером, что «из свинцовых инстинктов не выработаешь золотого поведения», сосредоточивали силы и таланты свои на «самопознании», на вопросах индивидуального бытия. Быстро подвигались к приятию лозунга «наше время — не время широких задач».

Гениальнейший художник, который так изумительно тонко чувствовал силу зла, что казался творцом его, дьяволом, разоблачающим самого себя, художник этот, в стране, где большинство господ было такими же рабами, как их слуги, истерически кричал:

«Смирись, гордый человек! Терпи, гордый человек!»

А вслед за ним не менее мощно звучал голос другого гения, властно и настойчиво утверждая, что к свободе ведет только один путь — путь «непротивления злу насилием».

Дом Самгиных был одним из тех уже редких в те годы домов, где хозяева не торопились погасить все огни. Дом посещали, хотя и не часто, какие-то невеселые, неуживчивые люди; они садились в углах комнат, в тень, говорили мало, неприятно усмехаясь. Разного роста, различно одетые, они все были странно похожи друг на друга, как солдаты одной и той же роты. Они были «нездешние», куда-то ехали, являлись к Самгину на перепутье, иногда оставались ночевать. Они и тем еще похожи были друг на друга, что все покорно слушали сердитые слова Марии Романовны и, видимо, боялись ее. А отец Самгин боялся их, маленький Клим видел, что отец почти перед каждым из них виновато потирал мягкие, ласковые руки свои и дрыгал ногою. Один из таких, черный, бородатый и, должно быть, очень скупой, сердито сказал:

— У тебя в доме, Иван, глупо, как в армянском анекдоте: всё в десять раз больше. Мне на ночь зачем-то дали две подушки и две свечи.

Круг городских знакомых Самгина значительно сузился, но все-таки вечерами у него, по привычке, собирались люди, еще не изжившие настроение вчерашнего дня. И каждый вечер из флигеля в глубине двора величественно являлась Мария Романовна, высокая, костистая, в черных очках, с обиженным лицом без губ и в кружевной черной шапочке на полуседых волосах, из-под шапочки строго торчали большие, серые уши. Со второго этажа спускался квартирант Варавка, широкоплечий, рыжебородый. Он был похож на ломового извозчика, который вдруг разбогател и, купив чужую одежду, стеснительно натянул ее на себя. Двигался тяжело, осторожно, но все-таки очень шумно шаркал подошвами; ступни у него были овальные, как блюда для рыбы. Садясь к чайному столу, он сначала заботливо пробовал стул, достаточно ли крепок? На нем и вокруг него все потрескивало, скрипело, тряслось, мебель и посуда боялись его, а когда он проходил мимо рояля — гудели струны. Являлся доктор Сомов, чернобородый, мрачный; остановясь в двери, на пороге, он осматривал всех выпуклыми, каменными глазами из-под бровей, похожих на усы, и спрашивал хрипло:

— Живы, здоровы?

Потом он шагал в комнату, и за его широкой, сутулой спиной всегда оказывалась докторша, худенькая, желтолицая, с огромными глазами. Молча поцеловав Веру Петровну, она кланялась всем людям в комнате, точно иконам в церкви, садилась подальше от них и сидела, как на приеме у дантиста, прикрывая рот платком. Смотрела она в тот угол, где потемнее, и как будто ждала, что вот сейчас из темноты кто-то позовет ее:

«Иди!»

Клим знал, что она ждет смерть, доктор Сомов при нем и при ней сказал:

— Никогда не встречал человека, который так глупо боится смерти, как моя супруга.

Незаметно и неожиданно, где-нибудь в углу, в сумраке, возникал рыжий человек, учитель Клима и Дмитрия, Степан Томилин; вбегала всегда взволнованная барышня Таня Куликова, сухонькая, со смешным носом, изъеденным оспой; она приносила книжки или тетрадки, исписанные лиловыми словами, наскокивала на всех и подавленно, вполголоса торопила:

— Ну, давайте читать, читать!

Вера Петровна успокаивала ее:

— Напьемся чаю, отпустим прислугу и тогда...

— С прислугой осторожно! — предупреждал доктор Сомов, покачивая головой, а на темени ее, в клочковатых волосах, светилась серая, круглая пустота. Взрослые пили чай среди комнаты, за круглым столом, под лампой с белым абажуром, придуманным Самгиным: абажур отражал свет не вниз, на стол, а в потолок; от этого по комнате разливался скучный полумрак, а в трех углах ее было темно, почти как ночью. В четвертом, освещенном стенной лампой, у кадки с огромным рододендромом, помещался детский стол. Черные, лапчатые листья растения расплзались по стенам, на стеблях, привязанных бечевками ко гвоздям, воздушные корни висели в воздухе, как длинные, серые черви.

Солидный, толстенький Дмитрий всегда сидел спиной к большому столу, а Клим, стройный, сухонький, остриженный в кружок, «под мужика», усаживался лицом к взрослым и, внимательно слушая их говор, ждал, когда отец начнет показывать его.

Почти каждый вечер отец, подозвав Клина к себе, сжимал его бедра мягкими коленями и спрашивал:

— Ну, так как же, мужичок: что всего лучше?

Клим отвечал:

— Когда генерала хоронят.

— А — почему?

— Музыка играет.

— А что всего хуже?

— Если у мамы голова болит.

— Каково? — победоносно осведомлялся Самгин у гостей, и его смешное, круглое лицо ласково сияло. Гости, усмехаясь, хвалили Клина, но ему уже не нравились такие демонстрации ума его, он сам находил ответы свои глупенькими. Первый раз он дал их года два тому назад. Теперь он покорно и даже благосклонно подчинялся забаве, видя, что она приятна отцу, но уже чувствовал в ней что-то обидное, как будто он — игрушка: пожмут ее — пищит.

Из рассказов отца, матери, бабушки гостям Клим узнал о себе немало удивительного и важного: оказалось, что он, будучи еще совсем маленьким, заметно отличался от своих сверстников.

— Простые, грубые игрушки нравились ему больше затейливых и дорогих, — быстро-быстро и захлебываясь словами, говорил отец; бабушка, важно качая седею, пышно причесанной головой, подтверждала, вздыхая:

— Да, да, он любит простое.

И, в свою очередь, интересно рассказывала, что еще пятилетним ребенком Клим трогательно ухаживал за хилым цветком, который случайно вырос в тенистом углу сада, среди сорных трав; поливал его, не обращая внимания на цветы в клумбах, а когда цветок все-таки погиб, Клим долго и горько плакал.

Не слушая тещу, отец говорил сквозь ее слова:

— Гораздо охотнее играет с внуком няньки, чем с детьми своего круга...

Отец рассказывал лучше бабушки и всегда что-то такое, чего мальчик не замечал за собой, не чувствовал в себе. Иногда Климу даже казалось, что отец сам выдумал слова и поступки, о которых говорит, выдумал для того, чтоб похвастаться сыном, как он хвастался изумительной точностью хода своих часов, своим умением играть в карты и многим другим.

Но чаще Клим, слушая отца, удивлялся: как он забыл о том, что помнит отец? Нет, отец не выдумал, ведь и мама тоже говорит, что в нем, Климе, много необыкновенного, она даже объясняет, отчего это явилось.

— Он родился в тревожный год — тут и пожар, и арест Якова, и еще многое. Носила я его тяжело, роды были несколько преждевременны, вот откуда его странности, я думаю.

Клим слышал, что она говорит, как бы извиняясь или спрашивая: так ли это? Гости соглашались с нею:

— Да, это понятно!..

Однажды, взволнованный неудачной демонстрацией его ума перед гостями, Клим спросил отца:

— Почему я — необыкновенный, а Митя — обыкновенный? Он ведь тоже родился, когда всех вешали?

Отец объяснял очень многословно и долго, но в памяти Климa осталось только одно: есть желтые цветы и есть красные, он, Клим, красный цветок; желтые цветы — скучные.

Бабушка, неласково косясь на зятя, упрямо говорила, что на характер внука нехорошо влияет его смешное, мужицкое имя: дети называют Клима — клин, это обижает мальчика, потому он и тянется к взрослым.

— Это очень вредно, — говорила она.

Со всем этим никогда не соглашался Настоящий Старик — дедушка Аким, враг своего внука и всех людей, высокий, сутулый и скучный, как засохшее дерево. У него длинное лицо в двойной бороде от ушей до плеч, а подбородок голый, бритый, так же, как верхняя губа. Нос тяжелый, синеватый, глаза деда заросли серыми бровями. Его длинные ноги не сгибаются, длинные руки с кривыми пальцами шевелятся нехотя, неприятно, он одет всегда в длинный, коричневый сюртук, обут в бархатные сапоги на меху и на мягких подошвах. Он ходит с палкой, как ночной сторож, на конце палки кожаный мяч, чтоб она не стучала по полу, а шлепала и шаркала в тон подошвам его сапог. Он именно «настоящий старик» и даже сидит опираясь обеими руками на палку, как сидят старики на скамьях городского сада.

— Всё это — вреднейшая ерунда, — ворчит он. — Вы все портите ребенка, выдумываете его.

Между дедом и отцом тотчас разгорался спор. Отец доказывал, что все хорошее на земле — выдуманно, что выдумывать начали еще обезьяны, от которых родился человек, — дед сердито шаркал палкой, вычерчивая на полу нули, и кричал скрипучим голосом:

— И-и ерунда...

Но никто не мог переспорить отца, из его вкусных губ слова сыпались так быстро и обильно, что Клим уже знал: сейчас дед отмахнется палкой, выпрямится, большой, как лошадь в цирке, вставшая на задние ноги, и пойдет к себе, а отец крикнет вслед ему:

«Ты, пап, мизантроп!»

Так всегда и было.

Клим очень хорошо чувствовал, что дед всячески старается унижить его, тогда как все другие взрослые заботливо возвышают. Настоящий Старик утверждал, что Клим просто слабенький, вялый мальчик и что ничего необыкновенного в нем нет. Он играл плохими игрушками только потому, что хорошие у него отнимали бойкие дети, он дружил с внуком няньки, потому что Иван Дронов глупее детей Варавки, а Клим, избалованный всеми, самолюбив, требует особого внимания к себе и находит его только у Ивана.

Это было очень обидно слышать, возбуждало неприязнь к дедушке и робость пред ним. Клим верил отцу: все хорошее выдуманно — игрушки, конфеты, книги с картинками, стихи — всё. Заказывая обед, бабушка часто говорит кухарке:

И всегда нужно что-нибудь выдумывать, иначе никто из взрослых не будет замечать тебя и будешь жить так, как будто тебя нет или как будто ты не Клим, а Дмитрий.

Клим не помнил, когда именно он, заметив, что его выдумывают, сам начал выдумывать себя, но он хорошо помнил свои наиболее удачные выдумки. Когда-то давно он спросил Варавку:

— Почему у тебя такая насекомая фамилия? Ты — не русский?

— Я — турок, — ответил Варавка. — Моя настоящая фамилия Бей — Непалкой Акопейкой — бей. Бей — это по-турецки, а по-русски значит — господин.

— Это вовсе не фамилия, а нянькина поговорка, — сказал Клим.

Варавка схватил его и стал подкидывать к потолку, легко, точно мяч. Вскоре после этого привязался неприятный доктор Сомов, дышавший запахом водки и соленой рыбы; пришлось выдумать, что его фамилия круглая, как бочонок. Выдумалось, что дедушка говорит лиловыми словами. Но, когда он сказал, что люди сердятся по-летнему и по-зимнему, бойкая дочь Варавки, Лида, сердито крикнула:

— Это я сказала, я первая, а не он!

Клим сконфузился, покраснел.

Выдумывать было не легко, но он понимал, что именно за это все в доме, исключая Настоящего Старика, любят его больше, чем брата Дмитрия. Даже доктор Сомов, когда шли кататься в лодках и Клим с братом обогнали его, даже угрюмый доктор, лениво шагавший под руку с мамой, сказал ей:

— Вот, Вера, идут двое, их — десять, потому что один из них — нуль, а другой — единица.

Клим тотчас догадался, что нуль — это кругленький, скучный братишка, смешно похожий на отца. С того дня он стал называть брата Желтый Ноль, хотя Дмитрий был розовощекий, голубоглазый.

Заметив, что взрослые всегда ждут от него чего-то, чего нет у других детей, Клим старался, после вечернего чая, возможно больше посидеть со взрослыми у потока слов, из которого он черпал мудрость. Внимательно слушая бесконечные споры, он хорошо научился выхватывать слова, которые особенно царапали его слух, а потом спрашивал отца о значении этих слов. Иван Самгин с радостью объяснял, что такое мизантроп, радикал, атеист, культуртрегер, а объяснив и лаская сына, хвалил его:

— Ты — умник. Любопытствуй, любопытствуй, это полезно.

Отец был очень приятный, но менее интересный, чем Варавка. Трудно было понять, что говорит отец, он говорил так много и быстро, что слова его подавляли друг друга, а вся речь напоминала о том, как пузырится пена пива или кваса, вздымаясь из горлышка бутылки. Варавка говорил немного и словами крупными, точно на вывесках. На его красном лице весело сверкали маленькие, зеленоватые глазки, его рыжеватая борода пышностью своей была похожа на хвост лисы, в бороде шевелилась большая, красная улыбка; улыбнувшись, Варавка вкусно облизывал губы свои длинным, масляно блестящим языком.

Несомненно, это был самый умный человек, он никогда ни с кем не соглашался и всех учил, даже Настоящего Старика, который жил тоже несогласно со всеми, требуя, чтоб все шло одним путем.

— У России один путь, — говорил он, пристукивая палкой.

А Варавка кричал ему:

— Европа мы или нет?

Он всегда говорил, что на мужике далеко не уедешь, что есть только одна лошадь, способная сдвинуть воз, — интеллигенция. Клим знал, что интеллигенция — это отец, дед, мама, все знакомые и, конечно, сам Варавка, который может сдвинуть какой угодно тяжелый воз. Но было странно, что доктор, тоже очень сильный человек, не соглашался с Варавкой; серdito выкатывая черные глаза, он кричал:

— Это уж, знаете, черт знает что!

Мария Романовна, выпрямляясь, как солдат, строго говорила:

— Стыдитесь, Варавка!

А иногда она торжественно уходила в самый горячий момент спора, но, останавливаясь в дверях, красная от гнева, кричала:

— Одумайтесь, Варавка! Вы стоите на границе предательства!

Варавка, сидя на самом крепком стуле, хохотал, стул под ним скрипел.

Потирая пухлые, теплые ладони, начинал говорить отец:

— Позволь, Тимофей! С одной стороны, конечно, интеллигенты-практики, влагая свою энергию в дело промышленности и проникая в аппарат власти... с другой стороны, заветы недавнего прошлого...

— Со всех сторон плохо говоришь, — кричал Варавка, и Клим соглашался: да, отец плохо говорит и всегда оправдываясь, точно нашаливший. Мать тоже соглашалась с Варавкой.

— Тимофей Степанович — прав! — решительно заявляла она. — Жизнь оказалась сложнее, чем думали. Многое, принятое нами на веру, необходимо пересмотреть.

Она говорила не много, спокойно и без необыкновенных слов, и очень редко сердилась, но всегда не «по-летнему», шумно и грозно, как мать Лидии, а «по-зимнему». Красивое лицо ее бледнело, брови опускались; вскинув тяжелую, пышно причесанную голову, она спокойно смотрела выше человека, который рассердил ее, и говорила что-нибудь коротенькое, простое. Когда она так смотрела на отца, Климу казалось, что расстояние между ею и отцом увеличивается, хотя оба не двигаются с мест. Однажды она очень «по-зимнему» рассердилась на учителя Томилина, который долго и скучно говорил о двух правдах: правде-истине и правде-справедливости.

— Довольно! — тихо, но так, что все замолчали, сказала она. — Довольно бесплодных жертв. Великодушие наивно... Время поумнеть.

— Да ты с ума сошла, Вера! — ужаснулась Мария Романовна и быстро исчезла, громко топая широкими, точно копыта лошади, каблуками башмаков. Клим не помнил, чтобы мать когда-либо конфузилась, как это часто бывало с отцом. Только однажды она сконфузилась совершенно непонятно; она подрубала носовые платки, а Клим спросил ее:

— Мама, что значит: «Не пожелай жены ближнего твоего»?

— Спроси учителя, — сказала она и, тотчас же покраснев, торопливо прибавила:

— Нет, спроси отца...

Когда говорили интересное и понятное, Климу было выгодно, что взрослые забывали о нем, но, если споры утомляли его, он тотчас напоминал о себе, и мать или отец изумлялись:

— Как — ты еще здесь?

О двух правдах спорили скучно. Клим спросил:

— А почему узнают, когда правда, когда неправда?

— А? — вопросительно и подмигивая воскликнул отец: — Смотрите-ка!

Варавка, обняв Клима, ответил ему:

— Правду, брат, узнают по запаху, она едко пахнет.

— Чем?

— Луком, хреном...

Все засмеялись, а Таня Куликова печально сказала:

— Ах, как это верно! Правда тоже вызывает слезы, — да, Томилин?

Учитель молча, осторожно отодвинулся от нее, а у Тани порозовели уши, и, наклонив голову, она долго, неподвижно смотрела в пол, под ноги себе.

Клим довольно рано начал замечать, что в правде взрослых есть что-то неверное, выдуманное. В своих беседах они особенно часто говорили о царе и народе. Коротенькое, царапающее словечко — царь — не вызывало у него никаких представлений, до той поры, пока Мария Романовна не сказала другое слово:

— Вампир.

Она сказала это так сильно встряхнув головой, что очки ее подскочили выше бровей. Вскоре Клим узнал и незаметно для себя привык думать, что царь — это военный человек, очень злой и хитрый, недавно он «обманул весь народ».

Слово «народ» было удивительно емким, оно вмещало самые разнообразные чувства. О народе говорили жалобно и почтительно, радостно и озабоченно. Таня Куликова явно в чем-то завидовала народу, отец называл его страдальцем, а Варавка — губошлепом. Клим знал, что народ — это мужики и бабы, живущие в деревнях, они по средам приезжают в город продавать дрова, грибы, картофель и капусту. Но этот народ он не считал тем, настоящим, о котором так много и заботливо говорят, сочиняют стихи, которого все любят, жалеют и единодушно желают ему счастья.

Настоящий народ Клим воображал неисчислимой толпой людей огромного роста, несчастных и страшных, как чудовищный нищий Вавилов. Это был высокий старик в шапке волос, курчавых, точно овчина, грязно-серая борода обросла его лицо от глаз до шеи, сизая шишка носа едва заметна на лице, рта совсем не видно, а на месте глаз тускло светятся осколки мутных стекол. Но когда Вавилов рычал под окном: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» — в дремучей бороде его разверзалась темная яма, в ней грозно торчали три черных зуба и тяжело шевелился язык, толстый и круглый, как пест.

Взрослые говорили о нем с сожалением, милостыню давали ему почти-точно, Климу казалось, что они в чем-то виноваты пред этим нищим и, пожалуй, даже немножко боятся его, так же, как боялся Клим. Отец восхищался:

— Это обиженный Илья Муромец, гордая сила народная! — говорил он.

А нянька Евгения, круглая и толстая, точно бочка, кричала, когда дети слишком шалили:

— Вот я Вавилова позову!